

РОССИЯ И ЗАПАД

Владимир Вейдле



Безоговорочное и непримиримое противопоставление России Западу, Запада России есть ядро идейного комплекса, любопытного прежде всего тем, что его создали и дружно развивали ни в чем другом не согласные между собой умы: исключительные приверженцы всего русского в России и фанатические поклонники Запада на Западе. Первым принадлежит то преимущество над вторыми, что их воззрения, даже самой крайностью своей, содействовали осознанию национальных особенностей России, тогда как европейский Запад сам представляет собой сложное сочетание национальных культур, по отношению к которым положительная работа такого рода давно уже была исполнена. Однако, при всей неравноценности теорий, основная ошибка и тех, и других теоретиков одна: их представлению о Европе не хватает широты и гибкости. И те, и другие стремятся возвеличить «свое» путем умаления «чужого», не понимая относительности различия между своим и чужим, и само стремление это приносит им заслуженную кару, неизбежно приводя к сужению своего, которому начинает отовсюду угрожать их же собственными усилиями раздутое, разросшееся чужое. Ревнивые европейцы окапываются за Рейном и Дунаем, а наши собственные самобытники отступают от Невы к Москве-реке, покуда и Москва не показалась им еще недостаточно восточной.

Это понятие Востока, применяемое к России (а то и к славянской или православной Европе вообще), самой расплывчатостью и переменчивостью своей указывает на полемическое свое происхождение. Что такое Запад, т.е. западная Европа, это более или менее ясно всякому, но что такое Восток, гораздо менее ясно, это понятие конструируют как угодно, с тем только, чтобы оно возможно резче противопоставлялось — все равно, положительно или

отрицательно — оцениваемому Западу. В сколько-нибудь последовательной системе культурно-исторических понятий европейский Запад должен противопоставляться такому же европейскому Востоку, а затем оба они, в качестве Европы, — азиатскому Востоку, ближнему или дальнему. Православие можно называть восточным христианством, но его нельзя назвать христианством азиатским. Русскую культуру можно называть восточноевропейской, но она родилась и развилась в Европе, а не в Азии. Понятие Евразии по отношению к России географически столь же оправдано, как понятие Евроафрики по отношению к Испании, но ни о евразийской, ни о евроафриканской культуре говорить нельзя, а можно говорить лишь о национальных культурах русской и испанской, в которых черты, занесенные с востока, сыграли большую роль, чем в национальных культурах других европейских стран. Все эти простые истины забывались бы менее легко, если бы сравнительно отчетливые понятия Азии, или Ближнего Востока, или магометанского мира, не заменялись постоянно всезначущим словом Восток, беспрепятственно дающим себя использовать любой идеологии. Стоит это слово произнести, чтобы все европейское, но не относящееся к Западной Европе, немедленно превратилось в нечто отнюдь не европейское уже, а иное, враждебное, «восточное». Эта магическая операция удавалась бесчисленное количество раз в минувшем веке, да и сейчас не лишилась способности затмевать как западные, так и русские умы. Ей мы обязаны тем неверным, идущим в равной мере от Чаадаева и первых славянофилов истолкованием допетровской Руси, которое противопоставляет ее Европе уже тем самым, что выводит ее из византийской традиции.

Византия — не Азия; она, как и западный мир, вырастает из античной и христианской основ европейской культуры. Вполне законно ее Западу противопоставлять, но лишь в качестве европейского Востока. Восток и Запад единой Европы — не два инородных (хот я бы и находившихся в общении друг с другом) мира, а две половины одной и той же культуры, основанной на христианстве и античности. Их потому и плодотворно друг с другом сравнивать, друг другу противопоставлять, что они внутренне объединены великим духовным наследием, воспринятым по-разному, но от этого не утратившим единства. Вот почему византийское влияние на Западе или позже западное воздействие на воспитанный Византией мир не может быть сравниваемо с такими явлениями, как эллинизация северной Индии, китайское христианство или восприятие Аристотеля арабами. Если византийская империя была географически в значительной мере империей азиатской, то ведь и древнегреческая культура цвела в малоазиатских городах, и христианство родилось не в Афинах и не в Риме, и крупнейшего из отцов западной церкви, блаженного Августина, лишь историк причислит к Европе, а географ оставит в Африке. Историческое понятие Европы с географическим не совпадает: историческая Европа родилась три тысячи лет тому назад на крайнем востоке средиземноморского бассейна, а северная часть европейского материка не многим больше (а то и меньше) тысячи лет вообще живет историческою жизнью. В византийской культуре, несомненно, есть больше подлинно восточных или азиатских элементов, чем в культуре западного средневековья, однако и в ней эти элементы находятся не в центре, а на периферии; их больше на окраинах, чем в столице, и в проявлениях второстепенных, чем в жизненных и существенных. Очень хорошо это видно на примере художественного творчества, где константинопольская традиция сохраняя наибольшую верность греко-христианской его основе и где поздние восточные (особенно персидские) влияния свободно проникающие в область орнаментально-декоративную, задерживаются на пороге большой

архитектуры и церковного изобразительного искусства. Правда, в самом образовании византийского художественного стиля восточные элементы сыграли, как известно, значительную роль, но творческая работа, приведшая к созданию его, в том и заключалась, что эти элементы были поставлены в новую связь и по-новому оформлены эллинским ритмическим чувством и христианской волей к одухотворению телесного.

Византийская культура была прежде всего культурой греко-христианской, и только в этом своем качестве она могла стать воспитательницей еще лишенных высокой культуры народов восточной Европы. В составе огромного дара, полученного или унаследованного от нее, могли быть и специфически-восточные черты, однако в большинстве преобразованные эллинством и христианством, и во всяком случае не определяющие его абсолютной ценности и исторического значения. Воспитанная Византией Древняя Русь не могла быть воспитанием этим отрезана от Европы, так как воспитание состояло прежде всего в передаче ей греко-христианской традиции; она могла быть только отрезана от Запада в силу того, что византийское христианство отличалось от западного христианства, а воспринятая сквозь Византию античность — от античности, воспринятой Западом сквозь Рим. Правда, еще до татарского нашествия Россия была открыта влияниям, шедшим непосредственно из восточных частей византийской империи, с Кавказа, из Закавказья через Трапезунд; это привело, однако, лишь к эпизодическим заимствованиям, каких было сколько угодно и в западной Европе. Как все больше выясняется, некоторые орнаментальные и архитектурные мотивы пропутешествовали частью морским путем, частью же, вероятно, и сухопутным, через Россию, на крайний Запад. Ничто так не предвещает романского искусства, как раннесредневековое искусство Армении, и такого же рода странствием с востока на запад, спустя несколько веков, можно объяснить наличие сходных декоративных принципов в скульптурном украшении суздальских церквей и некоторых памятников Кавказа, южной Германии и северной Италии. Это движение форм не имеет, к тому же, ничего общего с византийской традицией как целым. Традиция эта в области искусства, как и в других областях, противопоставила Россию вместе с остальным православным миром Западу, но не только не сделала ее ни Востоком, ни Азией, а, напротив, определила ей на века вперед быть не чем иным как именно Европой.

Церковнославянский язык, воспитавший русский и в конце концов слившийся с ним в новом русском литературном языке, в своем культурном словаре, словообразовании, синтаксисе, стилистических возможностях есть точный сколок с греческого языка, гораздо более близкий к нему (не генетически, но по своей внутренней форме), чем романские языки к латинскому. Проповеди Кирилла Туровского по своей музыкальности, по своему утонченному ритмико-синтаксическому складу ближе стоят к греческим образцам, чем даже латинские писания его западных современников к высоким образцам латинской прозы. Икона Рублева ближе к греческому пониманию полноты формы, мелодичности линии и насыщенности ритма, чем искусство Мазаччио или Фра Беато, его современников в Италии. Благочестие, благолепие, благоговение, благообразие, чистосердечие, милосердие, целомудрие, умиление, — все это не только по-гречески сложенные слова, но и по-гречески воспринятые образы жизни и мысли, ставшие сперва церковно —, а потом и народно-русскими, как о том напоминает старец из «Подростка», знающий единое осуждение: «Благообразие не имеют», — и наставляющий

близких к блаженному и благолепному житию «Православие, – сказал Розанов, — в высшей степени отвечаем гармоническому духу, но в высшей степени не отвечает потревоженному духу». Если же когда-нибудь была культура гармонического духа, то это — греческая культура, и если это греческое христианство, пронизывающее всю древнерусскую духовную жизнь, называть «Востоком», или Азией, то неизвестно, что же тогда будет позволено называть Европой.

Опираясь на факт византийской преемственности, можно подчеркивать особенность русской культуры по отношению к Западу, но только утверждая ее принадлежность к общей христианско-европейской культуре, наследнице классической древности. Поэтому новейшие последователи и отчасти искажители славянофильской традиции опираются уже не на этот факт, а на факты, свидетельствующие в их глазах о связях Древней Руси не с Византией или неопределенным «Востоком», а непосредственно с тюрко-татарской или монгольской Азией. Факты эта распадаются на две категории: одни предшествуют отпочкованию древнерусской культуры от культуры византийской (и могут касаться поэтому лишь географических, этнических и фольклористических предпосылок русского культурного развития), другие относятся к векам, когда эта византийско-русская культура уже существует и живет историческую жизнью (так что следует рассмотреть, не образуют ли они всего лишь совокупность ее наносных, внешних и заимствованных черт). О той и о другой категории фактов можно сказать, что евразийские наблюдения, относящиеся к ним, верны, но что выводы, делаемые из этих наблюдений, неправильны. Евразия как «месторазвитие» — плодотворная формула, многое объясняющая в русской истории, при условии не считать месторазвитие предопределением и не создавать таким образом новой разновидности географического детерминизма. Точно так же наблюдения, касающиеся этнического состава русского народа или известных черт русского языка, народной музыки и народной орнаментики, позволяющих сблизить с аналогичными чертами азиатских народов, сами по себе ценны, но должны быть истолкованы как относящиеся к материалу, из которого строится культура, или к почве, на которой она растет, а не к самой культуре. Русский язык как этническое явление обнаруживает некоторые черты сходства с тюрко-татарскими языками, но русский язык как явление национальной культуры, иными словами, русский литературный язык, сложился не под татарским, а под греческим влиянием, к которому прибавилось впоследствии влияние западноевропейских языков. В высоких памятниках искусства, литературы, религиозной жизни Древней Руси столь же мало азиатского, как и в культуре послепетровской России. Что же касается отдельных элементов, перенятых у татар после татарского нашествия или заимствованных Москвой у Персии, Индии или Китая, то они, конечно, сыграли свою роль, подобно тому, как арабские влияния сыграли еще гораздо большую роль в испанской культуре, но греческое христианство, Византию, а следовательно, Европу, они из России не вытравивали, точно так же, как мавры не сумели превратить Испанию в неевропейскую страну.

Позитивистические или натуралистические предпосылки евразийства сказываются в стремлении целиком выводить культуру из данных географии и этнологии, забывая о том, что духовная преемственность может оказаться сильнее и тех и других, а также в понимании национальной культуры как некоего непосредственного выделения народа, тогда как она может содержать не только не народные по своему происхождению, но и противонародные черты. Стать на точку зрения такой теории — значит не признавать венгров европейским народом, не видеть, что эллинизм Гёте или Гёльдерлина столь же подлинно, как их

германство, что западность и русскость Пушкина — одно; это значит, в конечном счете, утверждать, что христианами могут быть только евреи или что в средневековой Франции цвела исключительно французская, но никак не христианско-европейская культура. Верно в этих воззрениях лишь то, что духовная преемственность протекает не в царстве духа, а в условиях исторического существования, вследствие чего христианство, античность, византийство и все вообще, что распространяется и передается, неизбежно меняет свой облик под влиянием местных условий, окрашивается по-новому в новой этнической среде. Для того, кто хочет определить степень «восточности» Древней Руси и степень ее принадлежности Европе, открыт только один путь: проверить, в какие именно тона окрашивает она византийскую культуру, каким образом делает она ее русской, тем самым видоизменяя, перетолковывая ее на новый лад. Если бы историки согласились правильно поставить вопрос, а именно — спросить себя, была ли Древняя Русь, так сказать, западней или восточней Византии, они давно нашли бы правильный ответ, который избавил бы их от лишних споров и недоразумений.

Допетровская русская культура была западней византийской, и потому дело Петра было лишь законным завершением того круглого исторического пути, который начался перенесением римской столицы в Константинополь и кончился перенесением русской столицы в Петербург. Религиозная, государственная, правовая жизнь Древней Руси, при всех отличиях от Запада, все же меньше отличалась от него, чем соответственные области византийской культуры, а кое в чем была ближе к нему, чем к самой византийской своей наставнице. Св. Сергей Радонежский, в конце концов, более похож на средневекового западного святого, отчасти на Франциска, отчасти на Бернарда, чем на любого византийского подвижника. Русский раскол, несмотря на все те черты, что так глубоко отличают его от западной Реформации, все же по своим социальным и духовным последствиям ближе к ней, чем любое религиозное движение в византийском мире. Государственный и правовой быт удельного периода, во всяком случае, менее похож на Византию, чем на Запад, а византийская идеология Москвы весьма сильно отличалась от московской действительности. Там, где великое воспитательное дело Византии завершилось полным усвоением ее дара и самостоятельным творчеством, т. е. прежде всего в области искусства, мы видим, что русские мастера отошли от византийских образцов как раз в направлении западном, а вовсе не в восточном. И дело тут совсем не в заимствованиях, которые случайны и редки. Новгородская орнаментика связана со скандинавской не подражанием, а внутренним родством, и стилистические принципы ее проникают также и в новгородскую икону. Деревянное зодчество русского севера опять-таки родственно скандинавскому и склонно к вертикализму, тому самому, который в XVI веке находит свое выражение в шатровых храмах, окончательно порвавших с византийской традицией и направленных скорее к созданию некоей русской готики, совершенно независимой от западной, резко от нее отличной, да ничего и не знающей о ней, и все же более близкой к основным устремлениям ее, чем к древним религиозно-эстетическим канонам византийской архитектуры. В искусстве искони выражались всего ясней неосознанные, но глубокие потребности, чаяния, стремления духовной жизни. Допетровское русское искусство, прежде всего орнамент и архитектура, менее чем иконопись связанные церковным послушанием, — неопровержимое свидетельство не только европейскости России (в ее пользу говорит уже сама византийская преемственность), но и ее поворота к Западу, не придуманного, а отгаданного и так свирепо, судорожно, но и бесповоротно завершеного Петром.

II

Древняя Русь, уже в силу византийского воспитания своего, была Европой, т. е. обладала основными предпосылками европейского культурного развития; однако резкая обособленность ее, особенно в московский период, могла привести под конец и к полному отъединению европейского Востока от Запада: Россия могла выпасть из Европы. Этого тем не менее не случилось, даже и за пять веков от татарского нашествия до Петра, потому что препятствовали этому не только сохранившиеся, хотя и слабые, связи с западным миром, но и еще больше те западные сравнительно с Византией черты, что проявились в духовном обиходе и культурном творчестве Московской Руси. Опасность была окончательно устранена Петром, Константин раздвоил, Петр восстановил европейское единство. Удача, по крайней мере в плане культуры, совершенного им всемирно-исторического дела засвидетельствована всем, что было создано Россией за два века петербургской ее истории. Судить о нации нужно как о личности — не столько по корням ее, сколько по ее плодам; у нас слишком часто судили о России не по тому, чем она стала, а по тому, чем якобы обещала стать. Даже если бы древнерусская культура не была частью европейской, а соответствовала во всем славянофильским или евразийским представлениям о ней, новой русской культуры было бы вполне достаточно, чтобы доказать предначертанность для России не какого-нибудь иного, а именно европейского пути. Если бы Петр был японским микадо или императором ацтеков, на его земле завелись бы со временем авиационные парки и сталелитейные заводы, но Пушкина она бы не родила.

Воссоединение с Западом было делом отнюдь не легким и не безопасным. Славянофилы это поняли, и тут их было бы не в чем упрекнуть, если бы их истолкование опасности не было основано на той же ошибке, какую постоянно совершали западники и которая больше всего помешала плодотворному развитию знаменитую идеологического спора. Ошибка заключается в противопоставлении друг другу Запада и России как чужого и своего, как двух величин, ничем органически одна с другой не связанных. Западники предпочитают чужое и хотят его поставить на место своего; славянофилы предпочитают свое и хотят очистить и отмежевать его от всего чужого. Для западника его любимый Запад — всего лишь носитель некоей безличной цивилизации, которую можно и должно пересадить в полудикую Россию, точно так же, как после открытия межпланетных сообщений ее можно и должно будет пересадить и на Луну. Для славянофила, более подготовленного к восприятию органических культурных единств, таким единством представляется Россия, или православие, или славянский мир, но на Европу он эту концепцию не распространяет, а в Западе видит или иное, враждебное восточному культурное единство, или чаще, как западник, безличную совокупность «плодов просвещения», которую он склонен, однако, не благословлять, а проклинать. Ни тот, ни другой не видит той общей укорененности России и Запада в европейском единстве, которое только и делает тесное общение между ними плодотворным и желательным. Оба противника рассуждают недостаточно исторически, слишком отвлеченно, как будто воссоединение с Западом России, христианской и воспитанной Византией страны, а значит, страны европейской, не в географическом только, но в культурном смысле, могло и в самом деле быть чем-то подобным европеизации Перу или Китая, т. е. столкновению двух

чуждых друг другу культур, могущему кончиться либо полным истреблением одной из них, либо превращением обеих в такую механическую смесь, которую уже нельзя назвать культурой.

В действительности происходило, конечно, совсем другое. Воссоединиться с Западом значило для России найти свое место в Европе и тем самым найти себя. Русской культуре предстояло не потерять свою индивидуальность, а впервые ее целостно приобрести — как часть другой индивидуальности. Европа — многонациональное единство, неполное без России; Россия — европейская нация, не способная вне Европы достигнуть полноты национального бытия. Европеизация неевропейских культурных миров — дело в известном смысле беспрепятственное, но и бесплодное; сближение России с Западом было делом трудным, но и плодотворным. Трудность его объясняется долгим отчуждением между ними и зависит от постоянной возможности преувеличений и односторонностей вроде галломании конца XVIII века, гегельянства сороковых годов или «пенкоснимательства» и западнического чванства, никогда не исчезавших из русской действительности. Опасность денационализации России была реальна, и те, кто с ней боролись, были тем более правы, что лишенная национального своеобразия страна тем самым лишилась бы и своего места в европейской культуре. Опасность эта проявилась с самого начала благодаря излишне резкому и насильственному характеру Петровской реформы, но очень рано сказался и тот национальный творческий подъем, который ею же был вызван. Русская речь при Петре была надломлена и засорена, однако из нее очень скоро выработался тот общий литературный язык, которого так не хватало допетровской России. Русский стих еще до Петра принял под западным влиянием несвойственную ему структуру, но усилия Тредиаковского и Ломоносова, отнюдь не возвращая его на старый путь, впервые поставили его на твердую почву и обеспечили его дальнейшее развитие. В судьбе русского стихосложения особенно ясно выразилась судьба русской культуры. Старый путь был узок и к созданию большой национальной (а не народной только) поэзии привести не мог; первый натиск Запада, положивший ему конец, был хаотичен и случаен, как и многое другое в Петровской реформе и в заимствованиях, ей предшествовавших; но более серьезное ознакомление не с ближним Западом только, а с совокупностью западноевропейских национальных культур привело одновременно к осознанию национальной особенности русского стихосложения и к занятию им определенного места среди национальных стихосложений Европы. Русский стих оказался близок не к польскому (или французскому), а к немецкому и английскому, хотя и с ними не во всем совпал. Тот, кто в свете этого примера взглянет на русскую историю, уже не согласится ни со славянофилом, готовым в некотором роде довольствоваться народным тоническим стихом, ни с западником, уху которого стих Кантемира должен казаться более «радикально-европейским» и значит «передовым», нежели стих Пушкина.

Утверждаясь в Европе, Россия утверждалась и в себе. Современникам Екатерины это было так ясно, что споры, связанные с этим, касались лишь частных дел, а не существа дела; и почти столь же ясно это было современникам Александра I. Славянофильство и западничество возникли характерным образом лишь после того, как были осознаны или хотя бы почувствованы некоторые перемены, произошедшие в самой западной культуре; только исходя из них и можно понять настоящий смысл обеих доктрин, то, что внутренне разделяло их, хотя и затушевывалось нередко в узаконенных формулах их полемики. Перемены, о

которых идет речь, сводятся к наметившемуся на рубеже нового века медленному превращению старой семьи органически выросших и жизненно сросшихся между собой национальных культур в интернациональную научно-техническую цивилизацию. Западники — последователи того течения европейской мысли, которое этому превращению содействовало и с восторгом принимало его плоды; славянофилы — ученики тех противников его, что и на Западе пытались с ним бороться. Западноевропейское происхождение той и другой идеологии очевидно, но и вполне законно: их борьба — только часть той большой борьбы, что велась во всей Европе и противопоставляла просвещенчество XVIII века романтической защите сверхразумных ценностей. Наличие этой борьбы в России — свидетельство ее принадлежности к Европе, но вместе с тем уже не к старой Европе, а к новой, проблематической Европе XIX столетия. Чаадаев и ранние славянофилы в этом отношении занимают еще не совсем отчетливые идеологические позиции (в частности, Запад Чаадаева — католическая, а не «просвещенная» Европа) тем не менее именно с тридцатых годов Россия принимает участие не просто в европейской духовной жизни, а в том новом, особо потрясенном и критическом фазисе ее, в который Запад вступил на полвека раньше. Пушкин едва ли не целиком еще по ту сторону этого перелома. Его гений сродни Рафаэлю, Ариосто, Расину, Вермеру, Моцарту и двум последним старым европейцам — Гёте и Стендалю. Он весь обращен к старой, дореволюционной и доромантической Европе; ему врождены все ее наследие, память, вся любовь; его основная миссия — сделать ее духовной родиной будущей России. Миссию эту он выполнил во всю меру отпущенного ему дара, но сращение России с Западом в единой Европе совершилось уже в новой обстановке, Пушкину чужой, с точки зрения которой он сам кажется обращенным не к будущему, а к прошлому. Россия завершилась, досоздалась в грохочущей мастерской девятнадцатого века.

Девятнадцатый век то же для России, что века Возрождения для Италии, что для Испании, Англии и Франции конец XVI и XVII век, он — то же, что для Германии время, очерчиваемое приблизительно годами рождения и смерти Гёте. Но если в истории России он занимает особое место, то это совсем не значит, что русский девятнадцатый век есть что-то от европейского девятнадцатого века отдельное и ему чуждое. В том-то и дело, что окончательное своеобразие свое в европейском сложном единстве Россия получает в этом веке, когда сама Европа чем дальше, тем больше перестает быть тем, чем она была: отныне вращаясь в нее, Россия вращается и в ее распад, в ее трагическую разъятость и бездомность. Отсюда необычайно сложное строение нашего «великого века», — как по сравнению с «великими веками» других народов, так и по сравнению с тем же столетием на Западе. Сращение с европейским прошлым привело к расцвету русской национальной культуры, но сращение с европейским настоящим окрасило этот расцвет в такие тревожные тона, какие не были свойственны культурному расцвету других европейских наций. Стихийных жизненных сил, тех, что сказались, например, в первозданно-земном и телесном гении Толстого, в России прошлого века было больше, чем на Западе, но рожденное ими не осталось только достоянием России, а влилось в общий для Запада и нее европейский девятнадцатый век. Искусство Толстого или Достоевского — русское искусство; Достоевский — русский, как Шекспир — англичанин или как Паскаль француз, но как и они, чем глубже он укоренен в своей стране, тем глубже прорастает в Европу. Условия, сделавшие возможными появление Шекспира и Паскаля, наступили раньше в Англии и во Франции, чем сходные условия в России, где Достоевский — столько же современник Шекспира, как и Диккенса, и Паскаля, и

Бодлера, а Толстой — позднорожденный эпический поэт, зрячий Гомер, соблазненный хитростями отрицающего и доказывающего разума. Трудом поколений от Петра до Пушкина вся Европа принадлежит России, вся Россия — Европе; все, что было создано в России после Пушкина, принадлежит европейскому девятнадцатому веку.

Русская литература от Лермонтова и Гоголя до наших дней — вся результат переворота, произведенного европейским романтизмом, она участвовала в нем, его продолжила и ни в чем от него не отеклась. Русская музыка больше получила от музыки западной, чем от музыки народной; и больше всего связана она с западной музыкой после Бетховена. Русская живопись, даже та, что в лице Иванова и Врубеля осталась верна религиозной своей основе, возвратиться к иконописи минуя европейское искусство все же не могла, и лишь укоренясь в этом искусстве, подчас находила форму одновременно европейскую и независимую от Запада. Русская философия начинается с Шеллинга и Гегеля, русская наука — с западной науки. Даже русская богословская мысль столько же исходит из собственной восточно-христианской традиции, сколько из традиции западной философской и богословской мысли. Дело тут не в нашей переимчивости и не в западном засилье, а в том, что на Западе и в России девятнадцатый век — един. Пусть не ссылаются на непонятность русской культуры для немцев, французов или англичан; между собой в былые времена им было куда труднее объясниться. Еще и сейчас елизаветинская драма доступна лишь избранным во Франции, а французская трагедия скучна для англичан; на континенте весьма редко читают Мильтона, а французы не без труда принимают за Данте и Гёте. Зато русские писатели девятнадцатого века если не усваиваются Европой, то лишь по лени, по незнанию языка, по нерадению переводчиков: все они плоть от ее плоти, все они соприродны ей, да и нет в европейской литературе последних пятидесяти лет более европейских имен, чем имена Толстого, ученика Руссо, и Достоевского, поклонника Корнеля и Расина, Жорж Санд, Диккенса и Бальзака. Запад уже не только дает нам свою культуру, но и принимает нашу от нас. Взаимопроницаемость Запада и России, совместимость их, условность и относительность всякого их противоположения таковы, что уже во многих случаях трудно решить, его ли собственный забытый дар возвращает Западу Россия или нечто новое, доселе неведомое ему дарит. Вернее, решать этого нельзя и не нужно. В том-то и дело, что Иванов и Мусоргский, Достоевский, Толстой и Соловьев — глубоко русские люди, но в такой же точно мере и люди Европы. Без Европы их бы не было, но не будь их, не будь России, и Европа в девятнадцатом веке была бы не тем, чем она была. Русская культура вытекает из европейской и, соединившись с Западом, себя построив, возвращается в нее, Россия — только одна из европейских стран, но уже необходимая для Европы, только один, но уже неотъемлемый голос в хоре европейских голосов.

«Европа нам мать, как и Россия, вторая мать наша; мы много взяли от нее, и опять возьмем и не захотим быть перед нею неблагодарными». Это не западник сказал; это по ту сторону западничества, как и славянофильства, на вершине мудрости, на пороге смерти, пишет Достоевский в «Дневнике писателя». Последнее упование его — мессианство, но мессианство в существе своем европейское, вытекающее из ощущения России как некоей лучшей Европы, призванной Европу спасти и обновить. Пусть упование это было неоправданным, но люди, хранившие такую веру, не обращались «лицом к востоку»; они обращались к Европе, веруя, что в Европе воссияет «восточный», т. е. русский, т. е.

обновленно-европейский свет. Они еще не знали только, что пророчество свое, в меру его исполнимости, исполнили они сами. Русско-европейское единство никогда не было с такой силой утверждено, как в знаменитых словах Ивана Карамазова. Европейское кладбище, о котором он говорит, — колыбель новой России, залог ее культурного существования. «Дорогие покойники» потому так и дороги, что столько же, как Европе, они принадлежат и нам. И то, о чем Иван Карамазов еще не говорит, чего еще не чувствует Достоевский, нам нетрудно теперь почувствовать. Нам нетрудно понять, что он сам, как в разной мере все современники его, все русские люди его века, не только унаследовали европейские могилы, но участвовали в европейском будущем, сами были творениями и творцами европейской культуры, сами говорили от имени Европы, того не зная, что делом их времени, что судьбой девятнадцатого века было Россию и Европу слить в одно.